

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 1. //Правда,
Москва, 1977
FB2: Vitmaier, 2008-05-22, version 1.0
UUID: 3ccfe935-7fb4-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Оригинальная пара
(«Морские рассказы»)

Содержание

| | |
|----------|-------|
| I..... | .0004 |
| II..... | .0013 |
| III..... | .0020 |
| IV..... | .0026 |
| V..... | .0039 |
| VI..... | .0056 |
| VII..... | .0076 |

**Константин Михайлович
Станюкович
ОРИГИНАЛЬНАЯ ПАРА**

Мне окончательно опротивела жизнь в меблированных комнатах с их неизменными прелестями: каким-то, им свойственным, прокислым запахом, постоянной сутолокой, звонками, хлопаньем дверей, с присутствием каждой меблированной квартиры непременно «беспокойным жильцом», «на днях» уезжающим в Ташкент и приводящим в смущение своей свободой обращения не только юрких, не особенно застенчивых горничных, но даже самую хозяйку – толстую, заспанную, перезрелую рижскую уроженку, отставную камелию средней руки, благоразумно променявшую прежнюю профессию на профессию содержательницы шамбр-гарни [1].

Я решил искать более тихое пристанище, в виде комнаты «от жильцов», предлагаемой, как часто объявляют в газетах, «скромным, небольшим семейством одинокому молодому человеку».

Долго шатался я по разным комнатам, пока не набрел на подходящую. Комната была недорогая, светлая, опрятная и – главное –

единственная, отдаваемая жильцам. «В остальных, – объяснила мне старая кухарка, – живут господа».

– Немцы? – спросил я, пораженный особенной чистотой.

– Что вы! Какие немцы? – обидчиво возразила старуха. – Русские: муж да жена.

– Детей нет?

– Какие дети!.. – проговорила кухарка. – Детей нет!

– Старики?

– Ну, нет... молодые! Комната преотличная... Всего неделя только, как жилец съехал, чиновник, жениться собрался... Диван новенький, мягкий (при этом она хлопнула ладонью по дивану), можно еще пару стульчиков прибавить...

– Как вас звать?

– Степанидой люди зовут.

– Так я, Степанида, нанимаю комнату. Кому отдать задаток?

– Давайте хоть мне, господ дома нет. А вас как звать? Вы какие будете?

– Зовут меня Иваном Петровичем... Бывший студент!

Степанида еще раз оглядела меня с ног до головы, приняла задаток и примолвила:

– Только, Иван Петрович, чтобы шуму никакого не было... по ночам...

– Насчет этого не беспокойтесь, Степанида. Я сам не люблю шуму...

– И вот что еще – уж вы извините, батюшка, меня, старуху... Вы... (она видимо стеснялась сказать) вы... не пьете?

– Нет.

– То-то!.. – добродушно обронила она, взглядывая своими ласковыми глазами.

– Да вы почему об этом так спрашиваете? Разве нападали на пьяных жильцов?

– Нет, слава богу, этого не было... Но только... А уж вы не сердитесь, пожалуйста! – закончила она, кланяясь и не давая ответа на мой вопрос.

На другой же день, уложив все свое имущество на извозчика, я переехал на новую квартиру.

После шума меблированных комнат, новая квартира показалась мне просто раем. Тепло, уютно, опрятно, спокойно – ничто не мешало занятиям. Одно обстоятельство несколько

смущало меня: рядом с моей комнатой была жилая комната хозяев, но и этот страх близкого соседства прошел после первых же дней. Ни шума, ни сцен. Соседи, как кажется, вставали и ложились поздно, а я рано уходил из дому, и когда возвращался, снова была тишина. Иногда только женский голос доносился из других комнат мягкими звуками. Ложился я спать тоже среди полнейшей тишины, словно никого не было дома... Женский с контральными нотами голос раздавался за стеной только с вечера. Ежедневно с семи часов в соседней комнате начиналось умывание и одевание: слышался плеск воды, раздавались тихие вскрикивания, затем начиналось шуршанье юбок. Когда туалет приходил к концу, между соседкой и Степанидой начинался обыкновенно разговор вполголоса. Степанидин голос, понижаясь все более и более, принимал какой-то убеждающий шепот; в ответ раздавались раздражительные ответы. Эта непонятная для меня беседа заканчивалась обыкновенно шумом юбок и громким вопросом: «хорошо ли сидит?», на что в ответ получались одобрительные восклицания Степани-

ды: «Павушка... королева ты моя!» и т.п. Затем по коридору раздавались шаги, и мимо моих дверей проносился легкий шелест шелкового платья; душистая струйка врывалась в мою комнату, затем хлопали дверями, и снова в квартире водворялась мертвая тишина.

Прошло две недели, и мне не случилось увидеть своих хозяев. Признаться, они меня заинтересовали. Странное что-то было в этой квартире. Степанида вечно шепталась за стеной с хозяйкой, а во время ее отсутствия я несколько раз видел, как она, поджидая барыню, заливалась слезами, но всегда при моем появлении отворачивалась, желая скрыть слезы... Среди ночной тишины по коридору шлепали, бывало, туфли; осторожной, робкой походкой проходил кто-то, и тогда в коридоре начинался какой-то странный разговор. Мягкий, тихий мужской голос о чем-то упрашивал Степаниду, но она обыкновенно отвечала: «Нельзя, родной мой... ложись лучше спать». Но тихий голос так убедительно просил «Степаниду Матвеевну», что старуха не выдерживала и, казалось, сдавалась на просьбы. «Ну, изволь, только, смотри, сейчас же ло-

жись, чтобы она не видала!» – говорила она и вслед затем куда-то исчезала. После одного из таких разговоров я встретил ее как-то на кухне. Она только что вернулась и под платком что-то прятала, но, увидав меня, сконфузилась... Со мной Степанида не заговаривала о хозяевах. Я не расспрашивал. Раз только, подавая самовар, Степанида закинула:

– Нашу видели?

– Нет. А что?

– Ничего. Я так. Полмесяца живете и не видали...

– Разве интересно?

– Как кому! – загадочно проговорила Степанида, обрывая разговор, несмотря на мои попытки продолжать его.

– А муж, видно, домосед?

– Да... читать любит... За книжками более... Однако я с вами болтаю, а у меня дело есть...

С тем и ушла.

Кажется, на другой или на третий день после этого разговора я заработался что-то долго. Был четвертый час утра, когда раздался звонок, и по коридору прошумел знакомый

шелест платья... За стеной раздался хохот.

– Ну, раздевай меня, няня... Что, вам весело было? – произнесла хозяйка веселым голосом.

– Ах, Зоя Михайловна... И тебе не жаль его?

– Молчи, нянька... Он спит?..

– Вряд ли... Сама знаешь, до сна ли...

– Дурак! – презрительно произнесла она.

Слышно было, как Степанида всхлипывала.

Шуршанье юбок смолкло.

– Жилец хорош собой, няня? – тихо продолжал голос.

– Нет.

– Тоже, кажется, такой же дурак, как и наш! – весело засмеялась хозяйка.

Голос ее понизился, и снова раздался смех.

– Ну, няня, перекрести меня... да поцелуй...

За стеной смолкло.

Я задремал... Вдруг странный шум вблизи пробудил меня. Рядом, за стеной, раздавался гневный женский голос, перешедший в крик. Кто-то бешено затопал ногами. На секунду во дворилась тишина, и вдруг что-то свистнуло и – показалось мне – раздался удар хлыста по чему-то мягкому... По комнате торопливо

пробежали...

Я вышел в коридор.

У дверей соседней комнаты стояла молодая женщина со свечой в руках... Я взглянул и изумился – такая она была красивая в белом капоте, с распущенными по плечам волосами. Что за прелестные черты, несмотря на то, что они были искажены гневом! В лице – ни кровинки, губы вздрагивали; грудь подымалась; всю ее точно подергивало. Голубые глаза с расширенными зрачками блестели зловецким блеском... Фигура стройная, гибкая... В руке маленький хлыстик, змейкой извивавшийся по белому капоту...

На другой стороне коридора, напротив, в полутемноте стояла маленькая мужская фигурка в плохеньком халате. Совсем молодой человек, худой, с тонкими, изящными чертами красивого лица и большими, темными, кроткими глазами. Эти кроткие глаза сразу подкупили меня в свою пользу, и вся его робкая фигурка показалась мне необыкновенно симпатичной. Он растерянно, робким, ласковым взглядом смотрел на женщину и как бы умолял ее успокоиться... В лице его было что-

то детское и глубоко симпатичное...

Она бросила на меня быстрый, резкий взгляд и быстро скрылась в двери. А он как-то застенчиво взглянул и тихо сказал, улыбаясь кроткой улыбкой:

– Вы извините, мы нашумели, побеспокоили вас... Видите ли: мы заспорили и...

Он опять застенчиво взглянул и прибавил:

– Жена вспыльчивая... Все добрые – вспыльчивые...

Он постоял, как бы в раздумье, несколько времени и тихо побрел на кухню.

– Извините... – прошептал он еще раз, проходя мимо.

Я вошел в свою комнату, разделся и лег спать. За стеной было тихо. Нервы мои были возбуждены, я ворочался с бока на бок и долго не мог заснуть... Мне все слышались за стеной сдержанные рыдания.

Через несколько времени я познакомился с молодым человеком. Это была замечательно кроткая душа. Он иногда захаживал ко мне, брал книги и любил вести «теоретические» разговоры, и при таких разговорах оживлялся; тогда его лицо делалось еще милей. Говорил он, не смотря на вас, а глядя куда-то вдаль, и точно говорил не вам, а разговаривал сам с собою; о жене он почти не говорил, а если случалось упоминать, то упоминал с большим уважением.

По вечерам, когда жены не было, он в своем неизменном халатике приходил, садился, сперва застенчиво озирался и долго молчал. Только несколько времени спустя он становился разговорчивее. Я любил его слушать. Говорил он с каким-то восторженным вдохновением. А то, бывало, зайдет он и остановится среди комнаты, задумается... Я любил в это время смотреть на его задумчивое, кроткое лицо, и всегда какая-то жалость сжимала мне сердце... Лицо его было худое, подозрительный румянец играл на щеках, он часто каш-

лял, схватываясь своими тонкими руками за грудь, и кашель был такой скверный... И каким он чужим казался среди окружающей обстановки! Всегда одет плохо, совсем плохо; сам, бывало, ставил самовары, чистил себе сапоги и добродушно ссорился по этому поводу со Степанидой, которая, казалось, любила его не меньше, чем свою барыню. И комнатка его совсем не похожа была на другие комнаты квартиры. В гостиной, столовой и еще какой-то полутемной, убранной в турецком вкусе, везде была роскошь, изящество, масса дорогих безделушек, цветы, картины, везде заметна была умелая рука любящей комфорт женщины, а у него в маленькой комнатке, совсем позади, какой контраст! Письменный стол, несколько стульев, клеенчатый диван, на котором он спал, и книги... Книгами была завалена вся комната. Книги валялись на окнах, на столе, на диване, на полу... Только большой, роскошный акварельный портрет жены в дорогой рамке висел над диваном и резко выделялся своим роскошным видом. На портрете жена была замечательной красавицей, более молодой, чем теперь; видно было,

что портрет снят раньше. Я и забыл сказать: звали моего знакомого Василием Николаевичем Первушиным. Он был математик, определенных занятий не имел, по целым дням копался в книгах.

Однажды я зашел к нему. Жены, по обыкновению, не было дома. Смотрю – ходит он по кабинету, и такое грустное, скорбное выражение в его кротких глазах... Он совсем сконфузился при моем появлении, ну совсем растерялся... Я недоумевал, но скоро понял причину: на столе стоял наполовину отпитый полустоф и рюмка...

– А жены дома нет! – проговорил он. – Она уехала... Женщина молодая, ей надо веселиться... правда?

Я что-то ответил.

– Что ей дома-то сидеть... Не скучать же...

И он снова заходил.

– Я, – начал он робко, – изредка люблю, знаете ли, немного выпить... Думается шире... мысли какие-то светлые такие идут в голову. Вы этого не пробовали?..

– Нет.

– Право?.. А впрочем не пробуйте... Я все

глупости говорю...

И он как-то неловко повернулся, свалил со стола рюмку, которая разбилась, и окончательно смешался и оробел...

Я отвернулся и долго смотрел на портрет.

– Как вы его находите? – произнес он. – Не правда ли, прекрасное лицо?.. Вот взгляните...

И он достал из стола еще несколько портретов и подал мне. Это все были фотографии его жены, их было, кажется, штук двадцать, снятых в разное время в разных позах и костюмах.

– Ну что?

– Фотографии очень хорошие...

– Да... – задумчиво как-то проговорил он, – хорошие, а вот я вам покажу другое лицо! – сказал он, и при упоминании об этом лице его собственное лицо как-то вдруг прояснилось, стало светлее, и в глазах засветился какой-то чудный луч глубокой любви.

Он достал большую фотографию и подал мне. Это был портрет молодой женщины, необыкновенно симпатичной. Что-то знакомое промелькнуло мне в этих чудных чертах необыкновенно милого, несколько строгого

лица. Я посмотрел на Василия Николаевича и догадался.

– Это ваша сестра?

– Да, – улыбнулся он. – Мы похожи!.. К несчастью, только лицами! – добавил он. – Чудная душа! Ах, какая это душа, если б вы знали!

Когда он заговорил о ней, я залюбовался на него. Такое благоговение было в его лице...

– Я ее увижу... непременно. Нельзя же... надо наконец... – вдруг проговорил он, думая, по обыкновению, вслух. – Я разузнаю адрес...

В это время раздался звонок.

Первушин видимо оробел. Он быстро спрятал портреты, убрал со стола водку и испуганно взглянул на меня.

– Который час?.. – проговорил он.

– Двенадцать.

– Как рано!.. – обрадовался он и видимо стеснялся моим присутствием.

Я хотел было уйти, как около раздались легкие шаги, и на пороге появилась моя соседка. Она была гораздо красивее, чем тогда, когда я видел ее в первый раз. Шикарное шелковое платье обхватывало ее стройный стан;

из-под роскошной шляпки выбивались белокурые пряди; лицо было оживлено и казалось свежее от горевшего на щеках румянца. Она вся улыбалась и внесла за собой какой-то неуловимый, щекотавший нервы аромат. Заметив меня, она ответила на мой поклон самым грациозным, любезным кивком хорошенькой головки. Во всех ее движениях сказывались грация и такт светской женщины.

– Я просто в восторге от Паска [2]! – проговорила она, обращаясь к мужу. – Что за прелесть актриса! какой ум, какая игра! Однако ты, Вася, рассеянный какой... Ты нас не знакомишь? – указала она на меня и подошла ко мне, проговорив: – Зоя Михайловна Первушина.

Я назвал свое имя.

О первой встрече ни полслова.

– Ну, пойдёмте, господа, пить чай... Иди же, Вася... Ты здоров?..

Он кротко так взглянул на нее и отвечал:

– Здоров, Зоя... здоров, что мне делается?

Мы пили чай в столовой. Зоя Михайловна говорила без умолку. Она видимо находилась под впечатлением пьесы и игры. Василий Ни-

колаевич с любовью слушал жену, и когда она делала особенно удачные замечания, он значительно покачивал головой и смотрел на меня, будто желая сказать: «видите ли, какая она умная и хорошая».

Однако скоро она умолкла, и веселое расположение духа исчезло. На лицо налетела какая-то тень. Она смолкла и задумалась. Первушин беспокойно взглядывал ей в лицо. Я поспешил уйти.

Прошло месяца два. Я редко видал своих новых знакомых. Первушин почти не заходил и не звал меня к себе. За стеной было совсем тихо, и по вечерам я уже не слышал обыкновенных разговоров хозяйки со Степанидой. Оказалось, что спальня была переведена в другую комнату.

Степанида по обыкновению помалчивала. Раз как-то, когда я спросил о здоровье Василия Николаевича, она ответила, что он нездоров. По грустному лицу доброй старухи я догадывался, что там опять было неладно.

– Что с ним?

– Кашляет все.

– Бедный!

– Ну, и она, моя голубушка, тоже бедная.

– Хороша бедная! – заметил я, – веселится, бегают из дому, а он чуть не на ладан дышит.

– Молчите, коли не знаете! – рассердилась старуха.

– Да нечего и знать... Вы-то что так застываетесь?

– Я-то? Да ведь я вынянчила Зоюшку. Кре-

постная еще ихняя была. Как же мне не заступаться... И кто же за нее заступится, за бесталанную!..

На старом лице Степаниды видна была глубокая скорбь, а в словах звучала такая теплая нотка, что я не мог не засмотреться на ее доброе лицо.

– Да ты что на меня уставился? – спросила Степанида, вдруг начиная говорить мне «ты».

– Ничего... Тоже и его жалко.

– А то как же... Такая душа и...

Она не договорила и махнула как-то безнадежно рукой.

Однажды я сидел у себя в комнате, как вошел Первушин. Он совсем осунулся и похудел еще более. Он был не в халате, как обычно, а в потертом черном сюртуке, подал руку и заходил по комнате. Я заметил в нем какую-то странную решимость, вовсе не идущую к его робкому виду. Он ходил и говорил вполголоса:

– Она зовет... Уйду. Надо ж наконец... я не позволю... все, что хочешь, но не касайся сестры. Она святая... Я этого не переносу.

Он остановился, странно оглянулся вокруг

и вдруг замолчал. Видимо ему хотелось поговорить, но он чего-то стеснялся.

– Знаете ли что... – начал было он и замал хал рукой, как-то печально улыбаясь. – Не то!.. У вас есть вино? – вдруг спросил он.

– Нет.

– Нет – и не надо. Редко две половинки сходятся... Уравнение, в котором x равен... чему x равен?

– Пойдемте-ка, Первушин, прогуляемся лучше.

– В самом деле, пойдемте, – обрадовался он. – Но как же шапка?

– Какая шапка?

– Моя! – робко заметил он. – Она у Степаниды, у этой доброй души, которая всю свою жизнь отдала другим, но стережет мою шапку.

– Так я возьму ее.

Я вышел из комнаты и пошел в кухню. Когда я попросил у Степаниды шапку Василия Николаевича, она спросила: «зачем, куда теперь идти... первый час!» Но когда я настаивал и сказал, что мы идем гулять вместе, она пошла к барыне, скоро вернулась оттуда, дала

мне шапку и маленькую записочку от Зои Николаевны. В этой записочке женским неразборчивым почерком были написаны следующие строки: «Вино губительно для здоровья мужа; бога ради не угощайте его и удержите. Он и без того слаб».

Я вернулся и, когда вошел в комнату, Первушин спросил:

– Достали?

– Вот она! – отвечал я.

– Так идемте. Скорей только.

Мы вышли на улицу. Ночь была тихая, лунная, славная. Слегка морозило. Однако мой сосед плотно кутался в свое худенькое пальто и задыхался.

– Вам тяжело? Поедемте, вон и извозчик.

– Тяжело? Всем тяжело! – как-то задумчиво отвечал он, – а извозчику еще тяжелей. Нет, нет, пройдемтесь... Я редко нынче хожу. Видите, какая славная ночь, как красива луна, и как жить хочется. Вы знаете легенду, почему она побледнела перед солнцем? А звезды? Знаете ли, бывают минуты, когда хочется говорить... ужасно как хочется, а я вообще мало говорю... о себе, то есть...

– Да вы не спешите так, Василий Николаевич, вам вредно.

– А я разве спешу? – усмехнулся он, умеряя шаги. – Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре. [3] Но... Наташа зовет... иная жизнь... К черту эти книги... Что в них?..

Он как-то странно замахал руками и закашлялся.

– Пойдемте куда-нибудь в трактир. У вас есть деньги?

– Есть, пойдемте.

Мы вошли в трактир, заняли отдельную комнату и заказали ужин.

Первушин спросил водки и сразу выпил две рюмки. Я было заметил, что это нездорово, но он только добродушно усмехнулся.

– Верно, Степанида сокрушалась и секретничала об этом с вами? Добрая! Она на меня как на ребенка смотрит. Напрасная забота... Я вот еще рюмку дерну, – усмехнулся он, наливая еще рюмку, – и Степанида ничего не делает.

Вино быстро действовало на Василия Ни-

колаевича. Он оживился. Его глаза заискрились лихорадочным блеском и он, улыбаясь кроткой, чудной улыбкой, быстро, точно боясь, что не успеет, начал мягким, тихим, надтреснутым голосом.

IV

— Только не думайте, бога ради, голубчик, что я жалуясь. Я не жалуясь; жаловаться глупо да, собственно говоря, по совети не на что. Разве может жаловаться звезда, что она светит менее ярко, чем солнце? Мало ли разной твари на свете погибает? Я просто хочу говорить и... буду говорить. Надоест вам, остановите — я не обижусь. Я вообще не обижаюсь.

Он кротко улыбнулся и продолжал:

— Женщина, говорят, в жизни играет немалую роль. И я начну с женщины. Вы догадываетесь, что я говорю о Зое? Встретились мы случайно. Надо вам сказать, что до этого я ни с одной женщиной не сходилась близко и, признаться, побаивался их, то есть не то, чтоб боялся, — это, пожалуй, не то выражение, — а испытывал нечто вроде благоговейного ужаса, вроде того, я думаю, какой испытали островитяне, увидав впервые действие пушек. Я любовался ими издали, незаметно, и не боялся только двух женщин на свете — мать и сестру Наташу. Еще надо сказать, что я был застен-

чив и робок (да и теперь тоже), а к тому же напуган матерью. Добрая! Она страшно меня любила, и, верно, потому для нее каждая недурненькая девушка, заходившая к нам, была заклятым врагом, если только я обращал на нее какое-нибудь внимание. По словам матери, каждая девушка (кроме Наташи, конечно), недурная собой, была сиреной [4], подходить к которой губительно и опасно для молодого человека, особенно такого «глупенького», каким она нередко называла своего любимого сына.

А брак она рисовала всегда такими мрачными красками, особенно когда Наташи не было в комнате, что, по ее мнению, тот молодой человек, который женится, делает непростительную глупость и непременно погибнет. На этот счет у нее была даже своя собственная теория, и когда она говорила на эту тему, – а тема эта была ее любимым коньком, – то говорила с замечательным диалектическим мастерством. Она меня находила таким совершенством, что ей казалось, будто все барышни имеют на меня виды, а она этого боялась. Понятный эгоизм у бедной, крайне

несчастливой с отцом.

Я с детства рос у юбки матери, и как я любил эту славную юбку! Сколько радостей она мне дала, сколько хорошего, честного слышал я из уст матери, прижимаясь к этой самой юбке! Мать нельзя было назвать очень образованной женщиной, но она была умна и кротка бесконечно. Мы с ней почти не разлучались. Смешно сказать: до шестнадцати лет я спал у нее в комнате. Любила она меня с тем страстным эгоизмом, с которым способна любить только мать; она старательно отдаляла от меня всякие, как она называла, соблазны, окружала меня попечениями, думала за меня в житейских делах и точно поставила задачей жизни держать меня как можно далее от житейских дрызг. Я проводил время за книгами и в обществе матери и сестры. Я много учился, много читал и был совершеннейшее дитя в жизни; любой деревенский мальчуган десяти лет имел более житейского опыта и характера, чем ваш покорный слуга в двадцать лет.

Отец сперва на это сердился, потом махнул рукой. Мать была кроткая, но упорная жен-

щина. Вы знаете женские тихие натуры, которые сопротивляются молча? Что с ними сделаешь? К тому же отец сознавал нравственное превосходство матери. Он был совсем другой человек. Гордился своей фамилией (все гербы из герольдии доставал) и был ростовщиком, то есть не имел кассы ссуд, нет, а давал деньги под векселя за огромные проценты. Это я узнал уже позднее, от сестры; сестра очень мучилась этим, да и мать как-то пугливо смотрела на отца. Все его чуждались, и он, как кажется, где-то на стороне свил себе другое гнездо и редко бывал с нами.

Чудная душа была Наташа! Такой правдивой души я не встречал более. Ее все уважали, даже отец; слово Наташи считалось вне сомнений. Как бы в противоположность мне, она обладала независимым характером и замечательной силой воли. К ней точно перешли упорство отца и кротость матери. С матерью она была дружна, но не была под ее влиянием; она много читала, много думала. Ей в то время было двадцать пять лет. Вы видели ее портрет? Хорошенькой ее нельзя назвать, да это название и не шло бы к ней; ее как-то

совестно было назвать хорошенькой. В ней была особенная, строгая красота. Лицо спокойное, сосредоточенное, черные глаза, умные и кроткие. Странная девушка! – Из такой породы, я думаю, была Шарлота Корде [5].

Бывало, она начнет говорить, – говорит так тихо, а сама бледная, губы побелеют. Очень уж близко принимала она к сердцу всякую неправду и ложь. Мать не так любила ее, как меня. Наташа не умела ласкаться и не жалась к юбке матери никогда. Обо мне Наташа часто сокрушалась. «Ты, Вася, какой-то блаженный, бог тебя знает!» – говорила она, сидя у меня в комнате. Я любил все объяснить, взвесить, рассортировать; она жила более чувством; я боялся людей, она – напротив; я любил кабинет и спокойствие; она не любила кабинетных занятий; я всегда колебался; она решала быстро... Она закаливала себя, чтоб не быть «барышней», как она говорила; только она не считала себя еще готовой ехать в деревню и быть там учительницей. Она советовала мне чаще бывать в обществе товарищей, но я всегда дичился, робел, конфузился, как-то страшно было. Она крепко любила

меня!

Я был на четвертом курсе, когда случилась наша встреча с Зоей, – именно случилась. Я даже теперь помню число, когда мы познакомились: это было четырнадцатого ноября. Мы поехали втроем в клуб.

Я застенчиво бродил под руку с сестрой по залам и с каким-то странным чувством глядел кругом. Я был в клубе в первый раз. В зале было душно; у меня кружилась голова от жары и женских оголенных плеч. После «тетрадок» и вычислений я смотрел на женские лица с жадностью и любопытством двадцатитрехлетнего болвана, прикованного к юбке. Они все казались мне красивыми, милыми и... страшными. Мне так хотелось подойти к ним и в то же время я знал, что я ни за что бы не решился на такой шаг. Я вздрагивал, когда проходил близко женщины, и вместе с тем жадно вдыхал этот одуряющий душистый аромат, который исходил от них.

Глядя по сторонам в этой пестрой толпе, я нечаянно толкнул какую-то даму, проходившую мимо. Я пробормотал извинение, взглянул на нее и обомлел. Вы видели ее? Не прав-

да ли, она хороша? Ну, а три года тому назад она была еще лучше. Мое искреннее изумление, кажется, понравилось ей. Она приветливо улыбнулась и пристально взглянула на мое смущенное лицо. Сестра дернула меня за рукав, и мы пошли далее.

– А ты, Первушин, совсем стал слепым! – нагнал нас один из моих товарищей, бывавших у нас. – Я тебе кланяюсь, а ты ничего не видишь!

Я извинился.

– С тобой, брат, желает познакомиться та дама, на которую ты так загляделся! – проговорил он тихо.

Я растерялся совсем и принял его слова за шутку.

– Без шуток, Первушин. Какие шутки! Эх, ты, красная девица!.. Если хочешь, так отведи сестру и приходи к буфету, я буду ждать.

Я отвел сестру к матушке и хотел отойти, но она пытливо взглянула и спросила: «Куда?» Я вспыхнул и в первый раз в жизни раздражился. «Я не маленький!» – ответил я и пошел.

Торопливо прошел я через толпу и нашел

товарища.

– Ну, пойдём! – взял он меня за руку. – Тебя ждут. Да что с тобою? Ты дрожишь?

Я, действительно, вздрагивал точно в лихорадке, от волнения и застенчивости; очень уж страшно было.

А мы уж подходили, я это чувствовал. Вон она сидит на диване. Я решился удрать. Я было рванул руку, но было поздно.

– Вот та красная девица, с которой вы хотели познакомиться, Зоя Михайловна. Позвольте вам представить ее: Василий Николаевич Первушин.

– Очень рада! – проговорила она, протягивал руку, которую, помню, я как-то странно крепко пожал. – Садитесь. Вот сюда... на диван.

Я совсем растерялся. Она смотрела в упор своими блестящими, смеющимися глазами. Я стоял около, как пень, и не двигался с места.

– Вы, как я посмотрю, рассеянный. Садитесь же подле... вот так.

Товарищ куда-то ушел, и мы заговорили, – вернее, она говорила... Что такое говорила она, я, ей-богу, не помню, но помню, что она

хохотала громко, показывая блестящие зубы, глядела на меня подзадоривающим взглядом, который сводит с ума подростков и стариков, и наклонялась к самому лицу так близко, что я сторонился. Скоро, однако, она бросила эту манеру. Она как будто подтянулась и стала относиться ко мне серьезно, с какою-то доброю ласковостью старшей сестры. И глаза ее, большие синие глаза, перестали смеяться.

Вы вообразите себе неловкого, застенчивого, неопытного юношу, голова которого набита «тетрадками», рядом с блестящей, красивой молодой женщиной – и вы поймете, что в ту пору я изображал из себя довольно забавную фигуру. Я почти не раскрывал рта, и мне хотелось убежать скорей. Но вдруг на меня нашла какая-то отвага, именно отвага отчаяния, и я стал говорить. Я говорил, что я студент, что буду профессором, что дам не люблю, что в клубе в первый раз, и она с таким вниманием, не прерывая, слушала мою болтовню, что, когда я спохватился, мне сделалось стыдно, и я замолчал.

– Продолжайте, продолжайте, – тихо проговорила она. – Что ж вы замолчали?

Но я говорить уже более не мог.

– Что же вы? – тихо переспросила она, ласково дергая меня за руку.

– Я... я... не могу!.. – проговорил я.

В это время мимо проходил какой-то изящный молодой офицер. Он кивнул моей даме с такой фамильярностью, что я побагровел; она отвечала тем же. Он, смеясь, подошел к ней и, нагнувшись так близко к шее, что губы почти касались ее, начал шептать. Она расхохоталась и, указывая на меня, отрицательно покачала головой, шутливо ударив его по рукам веером. Офицер отошел и, отходя, заметил, смеясь:

– Новый экземпляр?

Она кивнула головой и обернулась в мою сторону. По всей вероятности, лицо мое было глупо до последней степени, потому что вдруг она взяла меня тихо за руку и с умоляющим выражением спросила:

– Что с вами?

Я отвечал, что мне жарко... устал...

– Это был мой брат! – неловко проговорила она, угадав, вероятно, мое настроение.

– Брат? – переспросил я и радостно вздох-

нул. – Как он на вас не похож.

– Да... не похож... Куда ж вы?

Мне даже послышался в этом вопросе испуг.

– Пора... меня ожидают мать и сестра...

– И вы бежать? Оставайтесь...

– Нет!.. Да... лучше пустите!

Я говорил какой-то вздор, а она слушала его с непонятным мне участием.

– Ну, хорошо, я вас пущу, но только с условием! – сказала она тихо. – Мне бы не хотелось, чтобы наша встреча была последней, Василий Николаевич, и если вы не прочь поскучать у меня, заезжайте ко мне. По утрам я всегда дома до трех...

Она сказала адрес.

– Приедете? – снова спросила она, задерживая мою руку. – Не забудете адреса?

– Еще бы! – сказал я и так пожал ее руку, что она чуть не вскрикнула.

Я быстро уходил от нее в каком-то чадуге. Странное ощущение испытывал я: не то страх, не то восторг. Точно я только что ходил по краю пропасти, и мне хотелось снова пройтись. Я припоминал ее лицо, слова.

– Где это ты пропадал, Вася? – спросила меня мать, по обыкновению, ласково, позабыв мой резкий ответ.

– Мы были с товарищем...

– А мы тебя искали! – заметила Наташа.

– Не пора ли, дети, ехать?

– Ах, нет, подождемте, мама... Еще рано! – сказал я.

Мать ревниво взглянула на меня и заметила:

– Ну, хорошо. Мы останемся еще, но только не более часу. Ты, впрочем, как хочешь. Кажется, здесь особенного веселья нет, Наташа?

Сестра молча согласилась с матушкой.

Перед отъездом мне еще раз хотелось взглянуть на Зою Михайловну, и я пошел ее отыскивать. Проходя по столовой, я увидел ее. Она сидела рядом с офицером и громко хохотала; перед ними стояла бутылка шампанского. Я поторопился пройти, но мне показалось, что она меня заметила и... и сконфузилась.

В швейцарской, когда мы надевали шубы, ко мне подбежал мой товарищ и, как-то скверно щуря глаза, заметил:

– Ты, Первушин, счастливец!

– То есть, как это?

– Очень просто. Что это ты таким агнцем представляешься? Ты Зое Михайловне понравился. Она любит таких... зеленых.

И он засмеялся гадким смехом.

– Только, – продолжал он, – ты не зевай, а прямо...

– Что ты говоришь? как ты смеешь так говорить?

– Ха-ха-ха!.. Да ведь Зоя Михайловна – кокотка!

Я так схватил его за руку, что он побледнел и страшно-испуганно взглянул на меня.

– Если ты еще одно слово... я ударю тебя!

С этими словами я бросился вон из швейцарской на подъезд. Там я нашел своих, и мы уехали.

– Кокотка? Не может быть. Он лжет! – повторял я несколько раз и долго не мог заснуть.

Первушин, несмотря на мои увещания, выпил еще две рюмки и продолжал:

– Прошло две недели со времени нашей встречи, а я не решался идти к Зое Михайловне. По правде говоря, я ходил к ней каждый день, но доходил только до ее квартиры, а звонить не осмеливался. С какой стати я приду к ней! Она так, из любезности, просила бывать, мало ли просят, а я вдруг... Нет, ни за что!

С такими мыслями обыкновенно я сходил печальный с лестницы и возвращался домой.

«Тетрадки» мне надоели. Чтение показалось таким скучным. Между строк книги незаметно для меня появлялось молодое, красивое лицо. Я закрывал глаза, желая подолее удержать в памяти дорогой образ, и так просиживал подолгу.

Мать волновалась и тревожно всматривалась в меня, но я отговаривался нездоровьем.

Прошла еще неделя, и я снова начал ходить на лекции, хотя, признаюсь, Зоя более всех профессоров занимала мое внимание.

Как-то, при входе в университет, швейцар подал мне маленькую записочку; я взглянул на почерк, и сердце екнуло; я сразу догадался, от кого она. Стало страшно. Я осторожно разорвал конверт и прочитал приглашение Зои зайти к ней.

Нечего и говорить, что я тотчас поехал.

– И не стыдно вам? – ласково покорила она, подавая обе руки.

Она посмотрела мне прямо в глаза. Суровая морщинка на лбу сгладилась. Она вся просияла.

– Отчего же так долго?

В ответ я говорил какую-то чепуху.

Зоя была в отличном расположении духа. Она говорила без умолку, смеялась, трунила над моей застенчивостью, потом показала свое помещение. Квартира была невелика, но убрана роскошно; особенно хорош был ее будуар.

– Какая роскошь! – невольно сорвалось у меня.

Зоя вдруг покраснела. Она, блестящая, изящная, красивая, стояла передо мной с видом виноватого школьника. Слезы стояли в

ее глазах.

– Пойдемте в гостиную! – тихо заметила она, взяв меня за руку.

– Что с вами, Зоя Михайловна? Вы... плачете? Я чем-нибудь обидел вас?.. О, простите меня.

– Я? С чего вы это взяли? Я не плачу, и вы меня не обижали! – проговорила она, смеясь. – Вы, Василий Николаевич, как видно, мало знаете женщин... Я просто нервная женщина, вот и все...

Она снова разговорилась. О себе почти не говорила или говорила очень мало, коротко, скорее намеками, но зато расспрашивала обо мне, о моих занятиях, о матери и сестре...

Я, к удивлению, развернулся и свободно отвечал на ее вопросы. Особенно много говорил о сестре и описывал ей Наташу с восторженностью влюбленного брата!

Она слушала, но под конец мои восторженные описания произвели на нее, кажется, тяжелое впечатление. Когда я рассказывал о матери, Зоя задумалась, и лицо ее сделалось такое грустное, что я остановился...

– Нет, нет... говорите... Не обращайтесь на

меня внимания... Я люблю это слушать... Так редко со мною говорят...

Мы простились друзьями. Она взяла с меня слово не забывать ее.

Я, разумеется, был влюблен, как только мог быть влюблен застенчивый, впервые влюбленный юнец.

– Заходите же, Василий Николаевич, прошу вас... Знаете ли что? Я с вами становлюсь лучше...

– Да разве вы можете быть еще лучше? – восторженно воскликнул я.

Она вспыхнула до ушей, как маленькая девочка, и взглянула с таким кротким, умоляющим выражением, что мне стало жутко.

– Зоя Михайловна! Что с вами?.. У вас есть горе?.. Скажите...

– Нет... ничего, ничего... До свидания, мой добрый...

И она крепко пожала мою дрожавшую руку.

Я стал ходить к Зое чаще и чаще и наконец стал просиживать у нее по целым дням. Часто я читал вслух, она слушала, сидя за работой. А то, бывало, она сядет за рояль и начнет

петь; славный у нее тогда был голос! Теперь она уж не поет. Нечего и прибавлять, что отношения наши были самые чистые. Я смотрел на нее с благоговением влюбленного и тайлил любовь про себя. А она? Она просто была неузнаваема. Куда девались ее прежняя манера, ее резкие выражения, громкий смех, смеющийся, жуткий взгляд ее, полуоткрытые костюмы? Она стала какая-то тихая, спокойная, робкая и даже застенчивая; платья носила самые скромные. Она стыдливо краснела, если нечаянно обнажался ее локоть или открывалась шея. Она быстро поправляла рукав или воротник и, точно маленькая, готова была расплакаться, если, казалось ей, я бывал не в духе. Глядя на нее, я считал ее самой скромной и целомудренной женщиной на свете.

Она умела хорошо рассказывать. Из того немногого, что она рассказывала тогда о себе, и знал только, что она кончила курс в институте, жила долгое время за границей и что отец и мать ее живут в провинции. О них она говорить не любила и раз на вопрос мой о том, часто ли она переписывается с матерью, отвечала как-то неохотно. Она любила вспо-

минать жизнь за границей. Италия на нее произвела большое впечатление; она там училась петь, мечтала о карьере артистки, все, казалось, складывалось удачно, но...

– Но, – уныло добавила она, – вышло совсем не так.

Больше она ничего не сказала. Я, разумеется, не спрашивал.

Обыкновенно я просиживал у нее до обеда; к обеду возвращался домой. Все были уверены, что я был на лекциях.

Но мать чуяла что-то недоброе и заметно волновалась. Обыкновенно спокойная, ровная, она стала раздражительна, пытливо всматривалась в мое лицо и отворачивалась неудовлетворенная. Чаше стала она говорить на тему о женском коварстве, вызывая обычную добродушную улыбку на лице Наташи. Нередко по вечерам она тихо подходила к моей комнате, чуть-чуть приотворяла двери и заглядывала, не решаясь войти. Я звал ее. Она хитрила, объясняя каким-нибудь пустым предлогом необходимость зайти в мою комнату, и тревожно справлялась о моем здоровье. Когда я отвечал, что здоров, она, по обык-

новению, обхватывала мою шею руками и, заглядывая мне в глаза, пытливо спрашивала:

– Правда?

Но, несмотря на утвердительный ответ, в ее добрых, нежных глазах заметна была тревога. Она грустно качала головой и тихо уходила из комнаты.

Наташа, очевидно, заметила, что я изменился, но делала вид, что ничего не замечает, а между тем я часто ловил на себе ее беспокойный взгляд. Наташа не спрашивала; не в ее манере было мешаться в «чужие дела», как она говорила.

Раз только, когда у нас зашел спор – она очень любила «теоретические» споры – о пожертвовании во имя долга, и я горячо доказывал, что тяжелее всего пожертвовать чувством к женщине, Наташа взглянула пристально на меня и тихо, совсем тихо прошептала:

– Уж не влюбился ли ты, Вася?

– Что за вздор! – отвечал я, вспыхивая.

– То-то! – строго заметила сестра. – Ты – натура несчастная. Полюбишь – пропадешь! Помнишь наши беседы? Как ни тяжело, а

приходится побороть чувство, если не хочешь только для себя одного жить!

Она говорила это спокойно, просто, и глубокое убеждение звучало в ее словах. Слова ее не шли вразрез с делом. Она – я узнал от нее после – в это время сама переживала тяжелую борьбу. Она любила, но отказалась от счастья любви. Любимый человек не откликнулся на ее зов, не шел туда, куда звала его наташина вера.

Хотя Наташа и говорила, что надо «побороть чувство», но тон ее голоса, беспокойные взгляды – все подсказывало мне, что она и сама не верила, что я способен на такое самопожертвование.

«Ты какой-то Василий блаженный!» – называла она меня нередко.

И точно я «блаженный», это слово идет ко мне. Ни силы, ни воли! Так, куда меня бросало, там я и закисал. Мечтатель какой-то. К деньгам я чувствовал полное равнодушие, честолюбия никакого, не знаю, есть ли и самолюбие. Я больше скорбел, но редко возмущался. Жалости много было во мне, а энергии никакой. Трусость какая-то! Иной раз прочтешь

книгу – плачешь, а робеешь перед всяким человеком, высказывающим решительно и с апломбом такие мнения, за которые можно краснеть. И дурак дураком стоишь перед ним.

«Из тебя археолог, пожалуй, выйдет! – грустно шутила, бывало, Наташа. – Очень уж ты всего боишься!»

Она рвалась на подвиг, а я? – я малодушно сочувствовал и усиленно зарывался в книжки, точно в них укрывался от страха перед жизнью.

Я продолжал навещать Зою и с каждым днем привязывался к ней сильнее. Я трусил ее блестящей красоты и любил ее с робостью и страстью первой любви. Она умела быть всегда милой, казалось, понимала меня и пугалась, что я мало занимаюсь, но я наверстывал время по вечерам, а дни мы проводили, как два наивные, смешные любовника.

Мы старались как можно более говорить; молчания боялись и даже вспыхивали, взглядывая друг на друга, точно нам было стыдно, что оба мы были молоды, и страсть невольно бросала яркий румянец на наши щеки. Особенно я боялся и, вероятно, боялся оттого, что

так часто хотелось броситься к ней, целовать ее лицо, руки. Кровь стучала в виски словно молотом, я стремительно отодвигался и ходил по комнате, считая себя преступником за то, что во мне были такие «нечистые» желания... Это ей, кажется, нравилось и вместе с тем сердило ее. Помню я, как-то раз сидели мы молча. Я глупо смотрел на ее шею и вздрагивал. «Что с вами?» – спросила она, надвигаясь на меня и заглядывая через плечо близко, совсем близко к лицу. Ее горячее, неровное дыхание обжигало меня, и я просто замер от страха, оробел совсем и глупо бросился в сторону, как спуганная птица. Зоя как-то странно, даже сердито усмехнулась и закусила губы, а я, считая себя каким-то недостойным ее негодяем, жалостно глядел кругом, ища шапку, и малодушно убежал. После этого я несколько дней не смел к ней придти.

В один из таких дней я был в театре и после спектакля долго бродил по улицам в каком-то особенно счастливом настроении. Мне думалось в эти минуты, что я не совсем чужой Зое. Я вспоминал ее слова, ее ласковые взгляды, улыбки, тихое пожатие рук и вспом-

нил о себе. «Вот, Первушин, и на твоей улице праздник! Знай наших!» – повторял я. Я всегда был мнителен и недоверчив к себе, а тут вдруг я почувствовал какую-то отвагу и гоголем шел по улицам. Я проходил в это время по Большой Морской, в нескольких шагах от Бореля [6], как вдруг слышу знакомый голос и шаги на лестнице. Я поспешил. Мимо меня проходила Зоя под руку с каким-то полковником. Но та ли это Зоя? Она висела на руке у полковника, громко хохотала и, показалось мне, была пьяна. Полковник, нисколько не стесняясь, усаживал ее в карету. Я подвинулся еще ближе, и, казалось мне, она узнала меня. Карета покатилась, но мне послышался из кареты крик.

Я остолбенел. Я не помню, как я провел эту ночь, знаю только, что вернулся домой утром. Бедная мать не спала, дожидаясь меня, и при виде меня ужаснулась; должно быть, у меня был расстроенный вид, вдобавок я был без фуражки.

– Вася, что с тобой, родной мой, скажи?

– Ах, мама, не спрашивайте!.. оставьте меня! – сухо отвечал я.

Она раздела меня, уложила спать и, по обыкновению, перекрестила. Я спать не мог; горячие, обильные слезы смачивали подушку, и когда мать пришла ко мне и, присев на кровать, молча стала ласково гладить меня по голове, я припал к ее чудной руке и, обливаясь слезами, робко признался, что люблю... женщину. На мать это открытие произвело ужасное впечатление.

– Кто она, кто эта скверная женщина, которая погубила тебя? – спросила она.

– Она, мама, не скверная... И зачем вам имя?.. Все равно... все кончено.

Но, по правде сказать, сердце мне подсказывало, что далеко не все кончено. Я непременно хотел видеть эту «скверную» женщину. Я вытерпел неделю, но дальше терпеть не мог и пошел к ней.

Степанида, как и всегда, отворила мне двери и пропустила в гостиную. Зоя лежала на диване. Увидав меня, она радостно вскрикнула и бросилась ко мне, но, когда я подошел поближе, она побледнела и остановилась как вкопанная.

– Что с вами?.. Вы нездоровы?.. На вас лица

нет! – спросила она.

Я шел с намерением сказать слова упрека, но какой тут упрек! Она не смела взглянуть на меня и стояла, опустив голову, словно виноватая. С минуту длилась эта тяжелая сцена.

– Вы видели?.. – едва слышно проговорила она, не поднимая глаз.

– Видел! – еще тише и еще робче ответил я.

– И вы все-таки... пришли? – сказала она с таким чувством благодарности, что я больше не мог...

Я зарыдал и припал к ее руке...

– Ты меня любишь?

– Разве ты не видишь!

– Меня? – переспросила она совсем упавшим голосом.

– Тебя!..

– Знаешь ли ты, кто такая я?

– И знать не хочу... ты для меня...

– Я ведь содержанка... я – продажная женщина! – вдруг вскрикнула она, отталкивая меня.

Но подите же! Если бы она сказала что-нибудь еще хуже, что мне за дело? Я все так же любил.

– Я люблю тебя, Зоя, а ты? – робко осмелился спросить я.

– Смею ли я?.. – воскликнула она, обливаясь слезами радости и бросаясь ко мне на шею. – Я давно люблю тебя... ты такой хороший! – застенчиво шептала она. – Господи, какое счастье!..

То были счастливые дни...

Зоя совсем изменилась. Она покончила с прошлым, бросила старые знакомства, продала все свои брильянты и перебралась на маленькую, скромную квартиру. Любила она меня с какою-то страстной нежностью; в этой любви была нежная забота матери и страсть любовницы. Она ухаживала за мной, как за ребенком, угадывала малейшее желание, старалась согнать с моего лица всякую тень и нянчилась со мной, как с любимой дитятей. Я снова попал с рук матери на руки любовницы. Опять от меня уходили куда-то всякие житейские дрызги. Никакая забота не должна была меня касаться. «Тебе надо заниматься!» – говорила Зоя, отстраняя все мелочи, из моего кабинета сделала какую-то святыню. Бывало, она входила ко мне не иначе, как на

цыпочках. И какая веселая была она в то время!

Я и позабыл сказать, что, по моим настояниям, мы обвенчались. Свадьба была самая тихая. Ни отца, ни матери не было на свадьбе; была одна Наташа. Она только раз и видела Зою – они друг другу очень не понравились – и скоро после моей свадьбы исполнила свою заветную мысль – уехала в деревню.

Я и теперь удивляюсь, вспоминая мою решимость действовать наперекор желаниям отца и матери.

Мать разузнала про Зою и с каким-то ужасом говорила о ней, не называя никогда по имени; в ее глазах такие женщины – развратные, скверные, падшие женщины, прикосновение к которым сквернит человека. Она не считала их способными на чувство и называла лицемерками, губящими людей. Добрая, чуткая, нежная, она в отношении к женщинам, уклоняющимся от дороги добродетели, была безжалостна и жестка и не признавала в них ничего, никакой хорошей черты; все в них, по ее мнению, ложь и разврат, и нет для них достойного наказания! Сама крайняя иде-

алистка, несмотря на то, что ее чувство было помято самым жестоким образом, мать с пуританской строгостью исполняла свой долг, как она называла, и, отдаваясь нелюбимому человеку, – в отце она сильно разочаровалась и не любила его давно! – считала себя «верной долгу» и имеющей право относиться без сожаления к тем женщинам, которые «торгуют любовью». Странное противоречие! – скажете вы. Но в ней это было логично, естественно, понятно.

Когда я объявил матери о моем намерении, она просто замерла.

– На ней? На этой?..

– Мама, – перебил я ее, – не оскорбляйте ее хоть при мне. Она хорошая женщина. Она так меня любит!

– Вася, милый мой... опомнись... еще есть время!

И она стала уговаривать меня, умолять, рисовать печальную участь.

Но, видя, что ничего не помогает, она ожесточилась и более ни слова об этом не говорила, и просила, как милости, никогда при ней ни слова не упоминать об «этой женщине».

С тех пор бедная мать зачахла и на другой день моей свадьбы уехала за границу, где через год и умерла на руках у Наташи, поспешившей к ней приехать. Мне дали знать, но уже было поздно.

С отцом объяснение было коротко. Он тоже знал о прошлом Зои и сказал мне:

– Ты знаешь мои взгляды, и потому я объявляю тебе: если ты женишься на «этой даме», ты нанесешь позор нашей фамилии и... тогда я попрошу тебя прекратить посещение моего дома и не считать себя в числе моих наследников.

Странный человек был отец! Он удивительно дорожил честью и в то же время не считал дурным быть ростовщиком.

Одна Наташа не упрекала, не грозила. Она только грустно, так грустно обняла меня и сказала:

– Что я скажу, Вася? Мы не раз говорили. Будь, по крайней мере, счастлив, если можешь!

Вот и все, что она сказала.

VI

Прошел год самой счастливой жизни.

Я сдал кандидатский экзамен. Давно пора было подумать о средствах к жизни, и это меня очень смущало. Я всегда был в этом отношении какой-то «блаженный», совсем непрактичный. Год мы прожили на средства Зои; она и думать не хотела, чтобы я зарабатывал. «Тебе сперва кончить курс надо», – говорила постоянно она и не переставала окружать меня самым заботливым вниманием. А я, признаюсь, и не обращал внимания на то, что у меня и платье новое, и белье сшито, и книги покупаются мне, точно было все равно, в каком я платье и какое на мне белье, книгам я бывал рад, и Зоя знала мою слабость.

А средства Зои приходили к концу, и, когда я кончил курс, она не раз намекала, что теперь моя очередь позаботиться об «уютном гнездышке». Вот в том-то и была моя ошибка. Гнездышка, да такого, какое любила Зоя, я не сумел свить! Зою видимо смущало мое неумение. Ей хотелось жить, не рискуя потерять нежность кожи на кухне, она любила хорошо

одеться и жить в «уютном гнезде» с цветами, жить оседло, спокойно, а не по-цыгански, – обо всем этом я уж после догадался, когда уже было, пожалуй, и поздно! – а я, напротив, ко всему этому был равнодушен и по рассеянности не замечал даже, на чем я сижу. Это ее даже раздражало.

Знаете ли, есть на свете такие неловкие, добродушные рохли, которые ничего толком не могут устроить, ни к чему приурочиться и живут, точно дети, не думая о завтрашнем дне. Таким людям я советовал бы никогда не жениться, право... Я много работал, перечел много книг, написал длинное исследование о падающих звездах, а составить счастья Зое не мог. Я находил, что самое лучшее – давать уроки, и зарабатывал рублей шестьсот в год, но Зоя находила, что этого мало для гнезда, и входила в долги. Впрочем, эта скучная материя меня и не касалась. Хозяйство было на руках Зои. Она начинала понемногу тяготиться хозяйственными дрызгами.

Она, бедняга, ошиблась, подозревая во мне характер, а именно характера-то у меня и не было. Приобретать на гнездо я не умел, – не

то, что не хотел, а просто не умел, – и, признаюсь, никогда и не подозревал, что гнездо обходится безобразно дорого. Сам я человек нетребовательный, мне бы дорваться до кабинета, засесть за тетрадки и слушать, как Зоя поет. Хорошо так! Зоя же находила, что хорошего в этом мало, что это «сентиментально-глупо», что уроки – глупости, что надо место и что нельзя же жить Робинзоном – совсем скучно.

– К чему ж ты учился? – нередко задавала она вопрос. – Разве ты хочешь из меня кухарку сделать? Я этого не хочу!

Я закрывал ей уста поцелуями, но Зоя, видимо, начинала скучать. Вечно вдвоем с таким сурком, как я, действительно было скучно такой женщине, как Зоя.

Она решила сама помочь мне и отправилась, скрыв от меня, к одному из бывших своих покровителей, весьма влиятельному дельцу. Устроилось дело как будто без ее помощи: я получил прямо предложение и приглашался к известному барину. Пришел – и оробел. Он вдобавок меня принял с какою-то насмешливой снисходительностью и разглядывал

меня, точно весьма редкий экземпляр, – так я был глуп, неловок и застенчив. Бедная Зоя! Если б она знала, какое скверное впечатление произвел ее муж! Меня посадили и спросили, на что я способен, и я по совести сказал, что едва ли я на что-нибудь способен в том деле, на какое меня приглашали.

– Так зачем же вы просились? – с изумлением спросил меня барин.

– Я вовсе и не просился. Вы сами пригласили меня.

«Барин» переглянулся со своим секретарем и заметил:

– Все равно, супруга ваша просила. Вы давно женаты?

– Недавно.

– Во всяком случае, я готов предложить вам место в тысячу пятьсот рублей. Дела почти никакого, изредка только помещать заметки в газетах.

Он объяснил, в чем дело, какие именно заметки, и ждал ответа. Разумеется, какой ответ! Я извинился и отказался, недоумевая, как это предлагают такие большие деньги, когда никакого дела нет.

Мы раскланялись, и, уходя, я ясно слышал голос барина, пославшего мне вслед «дурака».

Я понял, что в глазах барина я был дураком, но удивился, когда и Зоя, выслушав мой подробный рассказ о свидании, назвала меня тоже дураком.

Я промолчал и ничего не сказал о том, что мне известно, кто просил за меня. Она тоже об этом умолчала. Тем первая попытка и кончилась.

С тех пор Зоя, кажется, стала считать меня дурачком и решительно не могла придумать, что ей со мной делать. Когда, бывало, я говорю ей нежные слова, когда ласкаюсь к ней, она по-прежнему нежна, ласкова, но когда мясники начинали приставать с просьбами денег, она становилась все пасмурнее.

Наступила осень нашего мира. Дела шли все хуже и хуже; долги росли, а я и в ус себе не дул. Принесу Зое пятьдесят или шестьдесят рублей да и считаю, что сделал свое дело.

А она, бедняжка, начинала сердиться.

Сперва она подумала, что я ее не люблю, но когда раскусила меня получше, то поняла, что я «блаженный», и стала меня исправлять.

Начались, так называемые на языке супругов, сцены. Сперва шли сцены, так сказать, предварительные, но они меня как-то не дожимали, бог уж знает почему, вернее всего, что я их не всегда понимал. Я, бывало, приму порцию «сцен» и после них еще лезу целоваться.

Стала Зоя хандрить. Частенько замечала на глазах ее слезы.

– Что с тобой, Зоюшка?

– Ты разве не видишь?

– Ей-богу не вижу. Разве ты несчастлива?

– Да разве такая жизнь – счастье?

– Какая? – робко спрашивал я, все-таки ничего не понимая.

Она обыкновенно таращила на меня глаза и называла «блаженным дураком».

Печально плелся я в кабинет и долго ходил взад и вперед, ломая голову над вопросом, как бы перестать быть, в самом деле, дураком?

Стал я искать места и нашел в гимназии место учителя, но оттуда меня скоро выгнали. И там нашли, что я «неподходящий». Почему «неподходящий» – мне, разумеется, не объяс-

нили, хотя деликатно заметили, что я слаб с учениками и вообще рассеян. И в самом деле, как подумаешь, я был самым неподходящим человеком!

Бедняжка Зоя серьезно захандрила к концу второго года, особенно как за долги чуть было не продали нашего имущества. Она серьезно стала упрекать и пригрозила, что оставит меня, если...

Она точно не умела формулировать свою мысль и потому закончила:

– Если ты будешь такой же... дурак!

Я струсил и обещал не быть дураком. Легко было обещать! Но как исполнить это обещание?

Зоя в тот день была в нервном возбуждении и вечером уехала в театр.

Стала она чаще уходить из дому. У нее завелись свежие костюмы, за обедом появлялась некоторая роскошь, у меня явилась новая пара. «Ну, – думал я, – Зоя приучилась хозяйничать» (я в это время зарабатывал до тысячи рублей), и радовался этому сперва. Но вместе с этим Зоя делалась какая-то странная и неровная. Стала чаще сердиться на меня; то,

бывало, бранит меня, то со слезами на глазах припадет ко мне, да так и замрет.

Я не понимал, что делалось с бедняжкой, и только тихо гладил ее несчастную голову.

Временами она переставала уходить из дому. Сидела дома подле меня, просила рассказывать ей свои «блаженные мечты», как она называла мои мечты. И я, бывало, рассказывал ей... Как-то невольно разговор переходил на Наташу, на ее деятельность. Я горячо вспоминал сестру.

Зоя слушала, тихо улыбаясь и задумываясь, и не обрывала меня, как прежде, не называла глупеньким, напротив, становилась ласковой и, крепко прижимаясь ко мне, вся вздрагивая, точно подстреленная птица, она тихо шептала: «милый мой!».

И я снова был счастлив!

Но проходил месяц, другой, Зоя опять исчезала из дому и снова нервничала.

Памятен мне один вечер. Это было зимой. Сидел я у себя в кабинете и читал, как пришла ко мне Зоя. Смотрю на нее: бледна, сама вся дрожит, глаза грустные.

– Вася! Разве ты не видишь?.. – сказала она

каким-то отчаянным голосом.

– Что, Зоя? – спросил я, а сердце так и замерло.

– Глупый! Я... я скверная жена... я...

Она не досказала. И к чему было досказывать? Убитый ее вид все досказал.

Мне стало страшно холодно, точно я очутился в темной пропасти. Теперь только понял я, что принимал я за экономию. Дурак, дурак! Бедная Зоя!

Я глупо молчал, не смея поднять глаз.

Наконец я стал утешать ее. Это ее взбесило.

– Он еще утешает! – воскликнула она, нервно рыдая. – Женщина, которую он любит, говорит, что изменила ему, а он еще утешает! Ты должен бы наказать меня, плюнуть на меня, бить такую женщину, тогда, по крайней мере, я бы видела, что тебе больно, а вместо этого ты же утешаешь! Какой ты мужчина! Ты... тряпка! – добавила она и чуть ли не с презрением взглянула мне прямо в лицо.

Мне... бить!? Эта мысль показалась мне до того неестественной, что я не знал, что и сказать.

– Что ты говоришь, Зоя? Тебе самой разве легко? К чему еще упреки! Если тебе тяжело, значит вперед этого не будет!

– А если будет? – резко крикнула Зоя.

Я окончательно смешался.

– Что ж ты молчишь... говори!

– Если будет... – начал я, чувствуя, что слова с трудом выходят из груди и звучат глухо, – если будет... значит... иначе нельзя, и ничто не поможет.

– Да скажи наконец: добрый ты или глупый?

– И добрый, и глупый, кажется, вместе, Зоя! – тихо отвечал я, не смея взглянуть на нее.

– Хороший ты! – вдруг вырвался из груди ее какой-то скорбный крик, и она стала целовать мои руки.

Мне стало стыдно, страшно стыдно. Она же целует, точно благодарит за что-то. Я отдернул руки. Что было потом – этого не передать. Есть счастливые минуты, их можно только пережить, рассказать их невозможно.

Опять Зоя как будто сделалась счастливой или, по крайней мере, старалась быть счаст-

ливой. Снова повела жизнь затворницы и довольствовалась тем небольшим кружком двух-трех приятелей, которые у нас бывали. Она даже пробовала искать работы, ей отыскали, но это была скучная работа (переписка банковских счетов), и она ее бросила. Я, бывало, предлагал ей развлекаться, поехать в театр вместе, но она упорно отказывалась.

– Не предлагай, Вася. Я боюсь.

– Чего боишься?..

– Блеска, Вася, людского шума. Он щекочет нервы. Ты не понимаешь этого, ты слишком чист, а я... я испорченная. Меня тянет туда... я люблю этот блеск, люблю, когда на меня смотрят, любят... я тщеславна, хороший мой. Нет, нет, останемся вдвоем. Это пройдет, это должно пройти! Ах, зачем у нас нет детей! – вдруг шепнула она, ласкаясь.

Она дивилась мне, дивилась моей жизни, моей беспритязательности.

– Неужели тебе хорошо?

– Еще бы! А тебе, Зоя, скажи правду? Ты ведь знаешь – я верный друг.

– Иногда – да, иногда – чего-то недостает, но это вздор, не обращай на это внимания...

говори только чаще, что ты меня любишь. Ведь ты сильно меня любишь, или только привык?

– Зоя, Зоя! Разве ты не видишь!

Мало-помалу Зоя, казалось, стала примиряться с нашей серенькой жизнью (я не догадывался, что она пересиливала себя!); сузила расходы и как будто перестала пугаться перспективы скромной бедности. Нас навещали приятели, завелось два-три знакомства с семейными домами. Зоя страстно занялась хозяйством – откуда только у нее умение взялось! – сама бывала на кухне, учитывала гроши, чтобы свести концы с концами.

Я перестал скорбеть за Зою. Мне она казалась счастливою.

В ту пору случилось следующее обстоятельство: умер мой отец и оставил наследство. На мою долю приходилось двадцать тысяч, но эти деньги я никогда не считал своими, да и не мог считать своими. Уже давно мы так решили с Наташей и, пожалуй, именно благодаря Наташе, и я так решил, – об ней нечего и говорить. Деньгами этими я не считал себя вправе воспользоваться, – ни одним

грошом.

Правда, меня несколько смущала Зоя. Не должен ли я отдать эти деньги ей? Но колебания прошли скоро. Я не мог поступить иначе и отправил их Наташе. В ответ я получил от нее горячее письмо, точно я совершил подвиг какой-то. А какой тут подвиг?

Но из-за этих денег и случилась беда. Я об них не говорил ничего Зое, не хотел смущать ее напрасно и сказал, что после отца ничего не осталось.

Однажды, возвратившись с уроков, я увидел Зою такой сердитой, какой никогда не видал. Бледная, губы дрожат, глаза злые.

Я потихоньку пробрался в кабинет. Она быстро вошла вслед за мной.

– Так вот ты каков! – сказала она.

– Что такое, Зоя?

– Еще спрашивает! Дурачок, дурачок, а тоже... ничего не сказал!

– О чем?

– Я все знаю. Я прочла письмо твоего «ангела».

Я потупил голову. Я в первый раз солгал ей и был пойман.

– Что ж ты молчишь? Зачем ты отдал деньги? Ты богач, что ли? – усмехнулась едко она. – Тебя, дурака, сестрица за нос водит, и ты отдал деньги бог знает кому, зачем?

– Зоя! Эти деньги не могли быть нашими.

– Как же! Я прочла письмо, написано хорошо, даже очень хорошо, но ты понял ли, что ты сделал? А еще говоришь, что любишь! Ты думаешь, мне мила кухня?

Она выходила из себя.

– Зоя, Зоя, успокойся!

– Молчи, дурак! – вдруг крикнула Зоя. – Ты что? что ты? Ты бог знает из-за чего, из-за глупых идей своего «ангела», отнял у любимой женщины возможность быть порядочной женщиной. Это честно, а? Ты видел, что со мной делалось, ты знал, кто я такая, ты видел, как я спотыкалась, но как я, искренно любя тебя, хотела быть честной женой и смотреть всем прямо в глаза. И что ты для этого сделал, что? Пальцем не пошевелил, только плакал, как дурак, и не мог даже заработать столько, чтобы любимая женщина не сделалась кухаркой? Это любовь?

Она говорила эти слова вся бледная, а гла-

за смотрели холодно, зло.

Я понял, что все кончено.

– Но я кухаркой не стану. Не мне ею быть. Я жить хочу, а не нянчиться с дураком. Слышишь? жить хочу, я говорила давно. И пеняй теперь на себя, если тебе что-нибудь не понравится.

Она кончила свою жестокую речь и, повернувшись, ушла. В дверях она остановилась, обернулась ко мне, с явным презрением оглядела мою смущенную фигуру, засмеялась каким-то резким, злым смехом и тихо сказала:

– Подлец!..

Эта история ожесточила Зою. Я пробовал, спустя несколько дней, объяснить ей, почему я так поступил, но она холодно взглянула на меня и попросила избавить ее от всяких объяснений.

Стала она после этого пропадать из дому. Мы переехали на новую квартиру. У нее появились наряды, брильянты... Она перестала стесняться. У нас стали бывать какие-то гости, молодые блестящие офицеры, подозрительные старички, и если я не успевал убежать в кабинет, она знакомила меня с ними,

улыбаясь как-то странно, когда называла меня мужем. Я убежал в свой кабинет, в конце квартиры, но до моих ушей доносился нередко гул оргии и пьяный лепет веселых офицеров.

Скверно было мне, но какое право имел я упрекнуть ее? Разве я дал ей счастье? То ли я дал, чего она желала? Я совсем затворился и повел какую-то странную жизнь. Я хотел забыться совсем; я стал читать и пить, пить и читать. И в это время такие светлые мысли бродили в голове, мечталось так хорошо, хорошо... Я совсем забыл действительность и стал жить другой жизнью, какой-то фантастической. Понемногу я пристрастился к вину, потерял уроки и совсем опустился. Стал трусить Зои.

Она не оставляла меня одного в моей комнате. Она глумилась надо мной ядовито, с ехидством и остроумием умной женщины, называла дармоедом, предлагала мне взять ее на содержание. До этого даже доходило!

Что мог я сказать? И к чему? Несмотря на все это, я втайне любил ее и как еще любил! Подите ж. Мне даже казалось, что она обходи-

лась так со мной, чтобы заглушить свои страдания.

А что она страдала – иначе и не могло быть. Помню, это было год тому назад. Нездоровилось мне, сильно болела грудь, и я прилег на диван. Я не спал, а так, мечтал с открытыми глазами. Вдруг знакомые шаги. Избегая сцены, я закрыл глаза. Слышу: она тихо подходит к дивану, вот подошла совсем близко. Я чувствовал ее дыханье. Я вдруг открыл глаза и привскочил... Она тихо целовала мою руку, обжигая ее слезами.

Я обвил ее шею рукой и ни слова не говорил. Я знал, что мои слова только раздражают ее, а она глядела на меня кротко, так кротко, и грустно качала головой.

– Бедный ты, Вася... Бедный мой! – проговорила она.

– Что ты, Зоя? Какой я бедный!

Она улыбнулась сквозь слезы и присела около. Целый вечер не отходила она от меня. Какой я «бедный»? Сердце было так полно, мне было так жаль ее!

– А зачем ты пьешь? Разве я не понимаю?

– Я брошу, Зоя! Брось и ты! Это здоровье гу-

бит.

– На что оно мне!

Так перекидывались мы словами и долго просидели вдвоем.

Мы оставили квартиру, переехали на другую. Зоя снова пробовала приучить себя к скромной жизни, но эти пробы оканчивались очень скоро, и она снова начинала кутить. Чем более она кутила, тем становилась раздражительнее относительно меня. Наконец однажды она объявила, чтобы я уезжал с квартиры. Я тихо отвечал, что завтра же уеду.

Но – странная натура у Зои! – ответ мой окончательно вывел ее из себя. Она вдруг бросилась на меня... занесла руку... и ударила!

Через полчаса она уже валялась в ногах, просила остаться, и мне стоило большого труда успокоить ее.

Я пил сильнее и сильнее и на все как-то махнул рукой. Но вчера получил от моей ненаглядной Наташи письмо. Она зовет меня в деревню и, если я не приеду, обещает сама меня увезти. По письму видно, что она подозревает о моей жизни. Зоя прочитала письмо

и стала оскорблять Наташу. Это уж слишком... Это... Я не могу...

Первушин кончил. Он был взволнован и несколько пьян. Он было протянул руку к графину, но я его остановил.

– Послушайте, Первушин, вы губите себя.

– Да разве я и без того не пропащий человек? Что я?

Я его старался успокоить и доказывал, что поездка в деревню освежит его, поправит здоровье.

– Только поедете ли вы?

– Поеду! – решительно отвечал он. – Довольно! Скверне так. Непременно поеду и кто знает – быть может, и Зоя приедет к нам. Ведь она хорошая, как вы думаете? Ведь славная, а? – торопливо заговорил он и закашлялся.

Первушин даже оживился и несколько раз повторял, что непременно поедет. А я тоскливо взглядывал на Первушина. Худое, с чахоточным румянцем лицо, впалая грудь и скверный кашель – все говорило, что вряд ли ему придется начать новую жизнь.

Мы вышли на улицу.

– Вы разве не домой? – спросил я, когда он стал прощаться со мной.

– Нет... Зайду к одному приятелю. Пусть ее гнев пройдет. Зачем раздражать бедную Зою!

VII

Прошло три дня. Первушин не возвращался. В первый вечер Зоя Михайловна уехала куда-то из дому, но на другой день попросила меня к себе. Я пришел к ней. Она извинилась, что потревожила меня, и спросила:

– Где муж, не знаете ли вы?

Я сказал, что, когда мы расстались, он пошел к приятелю.

– Пил он? – тревожно спросила она.

– Немного.

– А я ведь вас просила! Ему так вредно пить! – с упреком проговорила она.

– Василию Николаевичу в деревню бы надо, Зоя Михайловна, – сказал я.

– А что, что? – испугалась она и вся вытянулась, словно боясь проронить слово.

– Плох он. Ему серьезно лечиться надо.

– Плох... – едва слышно повторила она, – плох...

Я не ожидал, что она так примет известие. Куда девалась ее улыбка? Она вся как-то замерла; глаза стали печальные.

– Но где ж он... где Вася? – вдруг встрепену-

лась она. – Степанида! Степанида! Поезжай, родная, скорей... отыщи барина, вот адрес... Нет, лучше вы, прошу вас.

Она умоляла меня сейчас же ехать. Я, конечно, не заставил себя просить и уехал по адресу, но там я его не застал и ничего не узнал.

– Ну что? – встретила она, трепетно ожидая ответа.

Я рассказал ей о своей неудаче.

– Господи! Не случилось ли чего?

Она была в ужасном страхе. Бледная, взволнованная, она то нервно ходила по комнате, то садилась и, опустив голову на руки, тихо рыдала.

Наступил вечер. Мы молча сидели вдвоем и прислушивались: не позвонят ли? Сколько раз ей казалось, что звонят, она стрелой летела в прихожую и возвращалась печальная: никого не было. Но вот раздался робкий звонок. Мы бросились в коридор, но Степанида предупредила нас.

Первушин робко, словно виноватый, пробирался тихими шагами. При свете лампы он казался какой-то тенью живого человека, –

такой худой, бледный, приниженный. Только глаза его лихорадочно горели.

Зоя Михайловна бросилась на него с каким-то радостным стоном.

Она не могла говорить. Она смеялась и плакала в одно и то же время. А Первушин совсем оробел. Он глядел на нее своими большими, кроткими глазами и точно не понимал, во сне ли все это или наяву.

У Первушиных, казалось, наступил новый медовый месяц. Надо было видеть, как ухаживала за ним Зоя Михайловна! Нечего и говорить, что она не отходила от него ни на шаг. Но бедняк уже слег. Изнурительная лихорадка уложила его в постель. Лучшие доктора были призваны к нему; они стучали в грудь и скверно качали головами.

Зое Михайловне они ничего не сказали, но мне объявили, что надежды никакой, и жить ему осталось очень мало, несколько дней. Чашотка в последней степени!

Я сидел у себя в комнате, когда ко мне заглянула Зоя Михайловна.

– Ну, что, что они сказали? – едва выговорила она, со страхом заглядывая в мое лицо.

Я обнадежил ее, как умел. Она тихо взяла меня за руку и с умоляющим видом спросила:

– Вы правду говорите? Он будет жить? Ведь будет?

– Конечно.

Она ушла от меня с надеждой.

А Первушину с каждым днем становилось хуже; он подолгу забывался, силы, видимо, оставляли его; доктор ездил два раза в день и, уезжая, предупреждал меня, что дело скверное.

Грустная тишина была в комнате больного. Первушин, исхудалый, без ропота, без жалоб, лежал на своем диване. Зоя не оставляла его ни на минуту и все время проводила около мужа; она сама похудела, осунулась, глаза ввалились. Я предложил было заменить ее, но она решительно отказалась. Первушин молча глядел на Зою своим кротким взором, и на лице его была такая счастливая улыбка...

– Знаешь ли, о чем я тебя попрошу, Зоя, милая моя! – как-то однажды сказал он.

– О чем, голубчик?

– Попроси Ивана Петровича написать телеграмму Наташе. Пусть Степанида снесет. Я

бы желал видеть сестру.

– Еще бы, сейчас! – проговорила Зоя и вдруг испуганно прибавила, – а тебе разве хуже... ты...

Она боялась досказать.

– Нет, Зоя, мне лучше. Ты не пугайся, милая моя. Мне просто хочется взглянуть на Наташу. Я верю, что я буду жить, мне хорошо.

Но он вдруг закашлялся, беспомощно прижимая маленькие руки к своей впалой груди.

– Все это пройдет, – опять заговорил он. – Я так счастлив, так счастлив... как же не жить? За что умирать? – шептал он, протягивая прозрачную руку Зое.

Зоя тихо сжимала ее в своей, а сама отворачивалась, чтобы скрыть слезы.

Когда телеграмма была написана и отправлена, Первушин, видимо, обрадовался.

– Вы увидите, – обратился он ко мне, – какая Наташа славная. Ты, Зоя, полюбишь ее. Она добрая. И ты ведь добрая!

Но что сделалось с Зоей? Она глухо рыдала, припав к руке Первушина.

– Зоя, что с тобой, что?.. – растерянно спросил он.

– Простишь ли ты... меня?..

– Простить? – он кротко улыбнулся. – За что тебя простить, глупенькая? Не плачь же. Мы будем счастливы, уедем отсюда с Наташей в деревню. Там хорошо так. Много воздуха, лес, цветы.

И Первушин начал мечтать о том, как он начнет новую жизнь, как он поедет.

– Еще неделю, другую, а там и поедем, правда?

А голос его все слабел и слабел. Ему было трудно говорить много. Он задыхался.

Зоя сидела, как убитая.

Наступил вечер. Василий Николаевич заснул. Мы молча сидели около. Степанида тихо всхлипывала в коридоре. Мерно тикали часы. Вот пробило восемь, девять. Первушин кашлял. Ему дали лекарство.

– Какой чудный сон, Зоя! Зоя, ты здесь?

– Я здесь.

– Где ты, Зоя, Зоя, Зоюшка! – жалобно спрашивал он.

Она нагнулась к нему, но он ее не узнавал и все повторял:

– Зоя, Зоя... не оставляй меня.

Зоя едва удерживала рыдания.

Скоро больной пришел в себя. Ему стало значительно лучше. Он присел на постели, попросил чаю и так бодро говорил, что Зоя стала надеяться.

– Видишь, мне совсем хорошо. Завтра, пожалуй, и встать можно, Иван Петрович? А ты, Зоя, усни, голубушка! Ты устала. Экая славная ты натура, Зоя, золотое сердце какое у тебя!

Первушин попросил есть и сказал, что теперь уснет.

Скоро он заснул.

– Ему лучше, правда? – шепотом спрашивала меня Зоя.

– Гораздо. Вы отдохните-ка.

Она села в кресло и скоро заснула, взяв с меня слово, что я ее разбужу, как только больной проснется.

Первушин спал до утра. Но утром он стал метаться. Я разбудил Зою. Она едва успела подбежать к постели, как вдруг Первушин приподнялся, открыл рот, жадно глотая воздух, опустил его, тяжело прохрипел, вытянулся – и в комнате водворилось мертвое молчание.

Зоя бросилась к нему, заглянула в глаза. Они кротко глядели по-прежнему. Я тихо отвел ее от трупа. Она не противилась и послушно отошла. Я закрыл покойнику глаза.

Я занялся распоряжениями насчет похорон. Зоя ничего не могла делать; она сидела целые часы молча. Она точно окаменела. Печальное выражение застыло у нее на лице, да так и осталось. Она не выронила слезинки и, когда о чем-нибудь ее спрашивали, отвечала автоматически.

На третий день приехала Наташа. Покойный недаром ею восхищался. Она вошла веселая, здоровая, свежая (мы не упоминали в телеграмме, что брат болен), но, когда увидела наши лица, бросилась прямо в гостиную и припала к брату.

С Зоей она обошлась холодно. Но Зоя, казалось, ничего не замечала и по-прежнему сидела у себя в комнате. На похоронах Зоя шла молча, опустив голову. За это время она постарела. Она была по-прежнему хороша, но горе уж наложило на нее свою печать.

На другой день Степанида пришла ко мне и объявила, чтобы я искал себе квартиру.

– А Зоя Михайловна?

– Мы уезжаем. Продадим только вещи.

– Куда?

– Не знаю, – печально ответила Степанида.

В тот же день в квартиру стали являться покупатели: маклаки [7], еврейки, и через день квартира опустела. Зоя Михайловна продала решительно все: мебель, вещи, все свои платья.

– Только черное, шерстяное, голубушка, на себе оставила. И все куда-то торопится и не торгуется вовсе! – говорила Степанида.

Я уложился и пошел проститься.

Она сидела в пустом кабинете. При моем появлении она вздрогнула.

– Это вы? – обернулась она и поднялась с ящика.

– Я пришел проститься, Зоя Михайловна.

– Прощайте. За все спасибо вам. Дай вам бог всего хорошего! – сказала она и крепко пожала мне руку.

– А вы?.. Вы уезжаете?

– Да.

Мне хотелось было спросить у нее, что она думает делать, где жить, но она, очевидно, не

желала продолжать разговор. Я пожелал ей душевного мира и вышел из комнаты.

1877

Шамбр-гарни – меблированные комнаты
(франц.).

[^^^]

2

Паска (1835–1914) – французская актриса. С 1870 по 1876 год играла на сцене Михайловского театра в Петербурге.

[^^^]

Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре. – Первушин намекает на свое сходство с героем романа Сервантеса Дон Кихотом, принявшим, как известно, бритвенный таз за драгоценный шлем Мамбрина.

[^^^]

4

Сирена – в древнегреческой мифологии – морская нимфа, своим пением завлекающая моряков в опасные места; в переносном значении – обольстительница.

[^^^]

Шарлота Корде (1768–1793) – французская монархистка, убившая одного из вождей якобинцев, Ж.-П.Марата. В либеральных кругах считалась идеалом героической, самоотверженной женщины.

[^^^]

6

...в нескольких шагах от Бореля... – т.е. популярного петербургского ресторана.

[^^^]

Маклак (устар.) – посредник при мелких торговых сделках, перекупщик.

[^^^]